

Александр Олганов

ПОДОВИЕ БИОГРАФИИ

СТЕХИ

Я родился в Одессе... О своем отце у меня нет почти никаких сведений; я даже не знаю, как он выглядел, так как его фотографии вместе с другими вещами были украдены при переезде в послевоенное время. Кажется, он был бухгалтером. Вскоре после моего рождения мать разошлась с ним. Долгое время у нас хранилось единственное его письмо из Звенигородки, в котором он называл меня "тыптяляшкой". Родина отца - Уфа. От первого брака у него было двое детей, которые оставались у своей матери /если она была жива/. В юности он совершил убийство из ревности. Его постоянное проживание на станции Звенигородка было, как будто бы, обязательным. По словам матери, мой отец был красивым и сильным, в припадке ярости он сгибал железную спинку кровати... Кажется, он много пил... Такая отрывочность сведений об отце объясняется тем, что с раннего детства в семье была принята версия о его гибели на войне, версия, в которую я по непонятным причинам почти никогда не верил, но, щадя мать, не задавал никаких вопросов.

Моя мать, Валентина Петровна Уварова, родилась в 1900 году в Бендерах. Она была, кажется, тринадцатым ребенком в семье железнодорожного служащего. По окончании гимназии ее выдали замуж за единственного в Бендерах владельца и водителя такси Владимира Пех-Пегу, чеха, который оказался подпольщиком и был расстрелян румынами в 1937 году. Тридцатисемилетняя мадам Пех была вынуждена начать работу сначала боинной, а после освобождения Бессарабии, закончив учительские курсы, - сельской учительницей. Перед самой войной она была направлена на курсы усовершенствования учителей в Одессу и оказалась в Окупации. Работая в конторе на дамбе, она познакомилась со своим сослуживцем Федором Окигановым и вышла за него замуж. 2 октября 1944 года родился я ...

После войны мать возвратилась в Молдавию и по совету родственников поступила на работу в детдом, чтобы иметь возможность кормить сына. В один из осенних дней в детдоме появилась странница с котомкой и посохом, ставшая своим духовным отцом и главой нашей семьи, — Нина Васильевна Дубинская, урожденная Некрасова. В юности она переплывала Днестр, по которому тогда проходила граница, оставив родительский дом, и вышла замуж за работника НКВД. Обладая разнообразными природными данными, она посещала в Одессе несколько студий, снималась в кино, пела, писала стихи... Мать покровляла ее полубогемная жизнь, она со своей стороны, будучи глубоко религиозной, требовала от него переманы профессии. Кажется, какое-то время он работал на морских судах, а она полностью посвятила себя воспитанию сына.. Перед войной они жили на Кавказе. Попытка замкнуться в семье закончилась крахом. Началась война, после которой муж, оставшись в живых, не возвратился к жене, а шестнадцатилетний сын, Глеб, уйдя добровольцем, погиб в 43-м году под Москвой /такова официальная версия/. У сестры на какое-то время помутился рассудок, она долго скиталась в горах и получила тяжелую болезнь позвоночника, от которой уже никогда не оправилась.

Несколько скудных и размытых фактов ни в коей мере не воссоздают этот почти легендарный облик, трагический облик женщины с необычайно тонкой духовной организацией, чуткой душой, сильной волей и неистребимой /при всей проничности/ верой.

Что представляли собой послевоенные детдома описать невозможно. Эта тема, которая хранилась только затронута в некоторых стихах /"Диалог", "Баллада о двух Маринах", "Цветы"/, еще ждет своего часа. В этих детдомах, бывших помещичьих усадьбах, и прошло мое детство. Мы исколесили всю Молдавию, сестре не сиделось на одном месте. Чоплени-Грушево под Кишиневым, Волонтировка, потом опять Грушево, Купчино на севере Молдавии и наконец опять Волонтировка...

Это было похоже на сон. Я возвращался в места, которые мне в самом деле снились, превращались в легенду, которая вдруг опять представляла передо мной во всей своей фантастической явности...

Почти каждое лето я ездил в Одессу.

Замкнутый мир детдома был и моим миром, я ходил в той же застиранной байке, ел ту же жидкую кашу, что и воспитанники, и называл мать Валентиной Петровной. Дети ее очень любили, и на работе она не позволяла мне никаких неясностей. Сестра руководила художественной самодеятельностью, и наша квартира перед каждым праздником превращалась в мастерскую с ворохами бумаги, марли, цветов и масок...

Весною детдомовцы ударялись в бега, и я часто следил, как они по двое, по трое с великой предосторожностью перелезали через забор и бежали, бежали по зеленым холмам... На бегунов устраивались облавы, чаще всего их ловили, иногда /через несколько месяцев/ они возвращались сами.

Но и совсем другой мир, недоступный и чуждый детдомовцам, мир деревни, села тоже был моим миром, и я знал и любил его не меньше детдомовского.

И еще у меня было море и сказочный город, где я жил то на окраине, на Слободке, за церковной оградой /там была квартира одной из сестер Некрасовых/, то на Садовой, у своей тети, бывшей оперной певицы, болевшей туберкулезом.

И, конечно, еще один мир — мир книг и спектаклей, которые ставила сестра, мир маскарадов, мир снов и фантазий. Особенно памяти мне роль андерсоновского Кая, которую я сыграл после третьего класса, и — через год — роль Динки-невидимки в пьесе одного современного драматурга. Но и помимо спектаклей игра не прекращалась, и даже стоя в углу /а стоял я там очень часто/ я разыгрывал на неровных деревенских стенах, покрытых пятнами, волосками от щетки, целые представления...

Школу я помню плохо. Учеба давалась мне незаметно, но я ее не любил и роль первого ученика играл скверно.

По окончании 7-го класса мне выдали аттестат с отличием, который мама вставила в рамку и повесила на стену нашей бендерской квартиры, так как мы уже жили в Бендерах, в городе моей матери: мать выходила на пенсию. Детство оборвалось. Сестра осталась в деревне — доработать до пенсии, а мне нужно было продолжать учебу, в селе же была семилетка. Этот разрыв семьи, множество всяких проблем, повергли меня в такое уныние, что даже поездка в Одессу ничуть его не рассеяла... Матери назначили пенсию в 30 рублей, половина которой уходила на оплату квартиры, и мне пришлось поступить в интернат в богатом болгарском селе на противоположном берегу Днестра. Интернатская жизнь подробно освещена в восьмистранных "Вуратин" и в поэме "Чарканы", поэтому здесь я о ней ничего не скажу. После восьмого класса меня как отащника отправили со старшеклассниками на месяц в Ленинград. Возвратившись домой, я узнал о смерти сестры. Писать об этом еще невозможно. Последующий период времени темен. Я не разговаривал. Даты сбились и перепутались. Я не в состоянии воссоздать последовательность событий. Кажется, следующим летом я ездил на Кавказ, куда в это же время я должен был поехать с сестрой.

В предпоследнем, десятом, классе я прочел "Клаустуса", и эта книга об угасающем разуме вновь затеплила мой собственный разум при продолжающемся онемении и искажении чувств и души...

Со смертью сестры моя жизнь извернулась так, что я не в состоянии сколько-нибудь внятно о ней писать. Я где-то работал, где-то учился... Впрочем, нигде не задерживался. От рака кишечника умерла моя мать. В 27 лет я неожиданно стал солдатом, а после службы в армии столь же неожиданно оказался на Волге, в Куйбышеве, где и застрял, абсолютно ни с кем не общаясь и то и дело хватаясь за чемодан...

За 33 года я написала гораздо меньше стихов, чем, например, писем. Было бы неостроумно ломиться в открытую дверь с уверенным, что я не поэт. Кого бы я удивил? Это же очевидно. "Стракоза" — моя первая книга — письмо, и адресат известен. Неизвестен лишь точный адрес. Я пыталась узнать его. Эти попытки и составили вторую книгу — "Трепетку". Мнение "профессиональных" читателей /буде такие найдутся/ я встречу с известным спокойствием уже потому, что "непосредственно личное играло тут /в этих книгах, А.О./ существенную, даже большую роль, чем духовное, каковое к тому же... могло быть замечено и оценено лишь в общих чертах, чисто инстинктивно и подсознательно." /Т.Майн/. Это как раз те молитвы, которых от меня добивались когда-то столь безуспешно и преждевременно, и, может быть, хоть какая-то часть их когда-нибудь будет услышана.

В детстве я фантазировал. Вымысел не был неправдой. А правда не была констатацией фактов. Все было волшебным, и я мог часами смотреть на огонек керосиновой лампы или сидеть на корточках перед какой-то травинкой. Жизнь была ко мне снисходительна, даже нежна, но я едва выносил эту нежность, отсюда постоянные слезы. Стоило матери тихо запеть, и я уже начинал плакать... Грусть вечеров, пыль на дороге, прутки в руке, звуки оркестра, мычание коров — все это опять вызывало слезы. Я долго, до пятого класса, спал с матерью и, засыпая, держал ее за руку. Сестра ставила меня в угол. Она мне купила тельняшку и собрала библиотечку из книг о море. Я нахлобучивал шляпу, накидывал на плечи платок и, размахивая деревяшкой, бросался на abordаж...

Сестра учила меня вышивать и быть стойким. Ее нетерпимость ко лжи восхищала меня и доставляла мне много бед, ибо я лгал, как ангел. Она добивалась от меня терпеливости и была нетерпима. Я восхищался ею — внизу. Она бывала несправедлива и неизменно была права. Перед сном она

ставила меня на колени перед иконой. Я плакал. "Почему ты молчишь?" "Ты не веруешь в Бога? Ты мне не веришь?" Это было мучительно. Как мог я не верить? Я верил, я ей верил во всем, даже в том, что- я знал- было неверно. Я верил в бога- в нее. И молчал. Я молился молчаньем или же лепетал про себя свои жалкие речи, но и про себя,- даже про себя!- я, решаясь сказать ОНА, не в силах был выдать ОН, БОЖЕ МОЙ, ОТЕЦ, БОГ. Она была, и она и была отцом. Это было так очевидно!.. Мы не понимали друг друга и мучались.

Мама не говорила мне ничего. Я лежал и ждал. Она расплетала косы, тушила лампу и, сидя в постели, быстро крестила темноту надо мной. Потом ложилась и протягивала мне свою руку. Я держал ее за руку, и это была самая немощно-сладостная молитва в моей жизни... Я без ума любил свою мать и без конца ее мучил, так как не отделял от своих мучений.

Сестра же парила на недостижимой высоте.

Иногда сестра читала мне Библию. Я лежал, знобясь, и боялся прослушать хоть слово, исходящее из ее уст. Это не было чтением книги. Это было пророчеством, откровением, совершающимся у меня на глазах, и то, что сестра при этом держала книгу и глядела в нее, только усиливало необычайность происходящего. Долго я не выдерживал... Сестра закрывала книгу и опускала руку на мою голову.

Мать и сестра работали с утра до ночи. Я подходил к зеркалу и, хмуро глядя в него, начинал... говорить? Нет, я не произносил ни слова. Слова дожидались. Сейчас важнее всего была интонация, и интонационно я проговаривал бесконечные речи, жесты были решительны, сдержаны, суровы. Так я учился суровости, ибо величие, человеческое величие, преломленное в Боге, сурово. Я придавал этим занятиям большое значение. И все же- конечно же!- одновременно я понимал, что все это- обезьяничение, что я ни на йоту не приближаюсь к той суровости, к тому величию, которыми

пропитаны речи Завета, ее речи, что мне не хватает мужественности и узости, этой священной узости, при которой только и возможно деяние, изменение, прорыв... Я забирался на подоконник и мурлыкал какие-то песенки, в которых тоже не было слов, а одни интонации, совсем уж другие... Это было блаженством, и это блаженство все сильнее и чаще начинало меня злить. Я становился упрямым, тупым и грубым, неистощимым на всякие каверзы. Неимоверно разрослась подозрительность, и я сознательно подогревал ее. С годами подозрительность уменьшалась, но прошлое не восстанавливалось: и я сам и мир — оба мы стерлись и потускнели, а воспоминание о том, какими я гаденышем был когда-то, сдерживало порывы, я уединялся и начинал себя презирать.

Подозрительность уживалась с наивностью, грубость с робостью. Лишь на других я согласен был видеть и видел печать избранничества, благородства, глубины, тайны и, робко приглядываясь к чужой жизни, благоговел перед ней. /Почему же сегодня при взгляде на кого бы то ни было мороз пробегает по коже от ужаса и отвращения?/

Мое преклонение перед сестрой, перед матерью, перед травинкой, перед всем миром, не проявляясь прямолинейно, подспудно и неустанно формировало меня и в итоге руководило каждым моим движением, независимо от того, насколько сознательно я поддавался этому руководству.

Чувственный мир, природа сама по себе безразлична нашему духу и недоступна уму. То, что мы ощущаем, воспринимаем и познаем, то, что мы именуем /и весьма обоснованно/ объективной реальностью, — это не вещи как таковые, а связи вещей, Гармония, Хаос. Только универсальная связь создает разнообразие, которое и формирует нас, раздирает на части и устремляет к единству... Е ребенку должно быть понятно, что успехи науки находятся в прямой зависимости от духовного уровня, что связи мира вещей настолько доступны чувствам, уму, насколько они, эти связи, присутствуют в нас и извлекаются нами в связях нашего я и ты, и она... Почему так разительны впечатления детства?

Потому что ребенок доверительно смотрит на мир глазами самого мира... Ад это, конечно, не кухня со сковородками, а пустота. Не отсутствие, а изначальная и принципиальная пустота. Ведь и мучение — благо, и каждый знает об этом с пеленок.

И вот, когда умерла сестра, когда она отказалась от нас, от меня, мир опустел и замолк одновременно со мною мгновенно: так в глаз и в сердце влетают осколки разбитого зеркала. И когда боль прошла, я разогнулся, стянул ладони от глаз и рассмеялся от отвращения: розы кишели червями, а люди, эти избранные божьи, отвратительно и препотешно корчили зверские рожи, выливая синими туловищами и суетливо перебирая муравьиными ножками. Себя самого я не ощущал, не слышал, не видел: я был невидимкой... Первым делом я сорвал и растоптал розы. Облегчение от этого буйства прошло очень скоро. Тогда я стал корчить рожи, хрипеть и суетиться, как муравей, передразнивая все, что обрушилось на меня. Так я и стал "поэтом".

25 августа, 1978 года,
Куйбышев.

Столь патетическая концовка этого очерка, как ни двусмысленна эта патетика, более уместна в других литературных жанрах, и поэтому, хотя это "подобие биографии" и так непростительно разрослось, я позволю себе добавить еще несколько строк. Пожалуй, слово поэт напрасно взято в кавычки, ибо на такие же знаки внимания претендует любое другое записанное здесь слово. Природа слов такова, что они они должны исчезать по мере возникновения, и поэтому-то и представляется, что с изобретением письма природа слов извратилась настолько, что то, что запечатлено на бумаге, на глине, на каком-либо ином материале, почти что уже не слова, а что-то другое, противоположное слову; то, что

можно определять и рассматривать, оценивать и приобретать, на чем можно остановиться. Это неверно. Слово-письмо и конструкция-бесзначальное универсальное слово пронизывает и организует себя самого подобно тому, как у Пифагора Космос пронизан строго исчисленной музыкой, речь же- и конструктивно и исторически- как бы упадок письма, примитивизация, срыв, низвержение. Слово-письмо как бы отрицает полноту своего бытия, свое постоянное, тотальную взаимосвязь, несвободу не быть в однократности речи, чтобы после падения, из глубины бессознательности и поворота, из ничего, от нуля обрести осознание себя самого в бесконечности, получить выражение, восстановить свою границу.

И при чтении читатель обязан /за автором вслед/ повторить этот путь Слова, беря все слова в кавычки, как бы отрицая их первоначальную непосредственность, данность. Условность, возведенная в абсолютизм и направленная в бесконечность, перестает быть всего лишь условностью и, не теряя ни одной своей связи, сохраняя всю свою строгость, обращается свободой и- слово за словом- освобождается от кавычек, которые, впрочем, не разрушаются, а преобразуются, придавая всему выражению, выходящему из и благодаря тотальной конструктивности, неслыханные до этого интонации.

Из книги "СТРЕКОЗА "

Из цикла "Чертova дюжина"

Ее ласкал орел крылом,
Паря под облаком кругами,
Сухой и серый бурелом
Цеплялся за нее руками
Корявых сучьев. Стаи рыб,
Как серебро, вокруг сверкали.
Колокола гранитных глыб
От ее вдоха рокотали.
Сгибался колосом колос.
Сократ краснел и заикался...
Ее каштановых волос
И я в глубоком сне касаясь.

И грустно до смерти порой,
Что эта байка устарела.
Мне ближний яму роет. Рой!
А мне смотреть осточертело.

Из цикла: 30Я

Красная улица

Здесь в 1831 году жил А.Пушкин

Я полюбил тебя за влагу
Апрельских утр, за нежные птиц,
За боль, за белую бумагу,
За суету вязальных спиц,
За самый малый взмах ресниц,
Скороговорку, слов свеченье...

Замедленная речь старух
Утратила свое значение,
Слова не радовали слух.

Ты помнишь ли счастливых двух?

Состарились здесь два столетия.
Осталась белая доска,
Его любовь, его тоска,
Которую преодолеть я
Не в силах до сих пор... И третья -
Та царскосельская жилища,
Которой воздано сполна!

Но недочитана страница...
Простит ли нас Карамзина?

Недаром улица красна,
Тиха, недаром на закате,
На неизменном сквозняке
Я иду в слезах и кто-то катит
На самокате в тупике.

Не будет лучшего подарка,
Чем желчный и продрогший весь -
На красной улице, под яркой
Сената и Синода. Здесь.

Да, я спокоен, ты права!
И мне опять дана страда
Считать и числить острова,
Мосты и церкви Ленинграда...

Богиня вечной рукой
Благословив устои сжата,
Дарует призрачный покой
Прохладной кисти винограда

И ускоряет легкий бег
Ночного теплого мотора.
Еще... Еще!.. Еще не скоро,
Ступай, усталый человек.

"Останься, милая. Любовь
Моя, останься!.." Успокойся.
В огромном доме приготовь
Постель, разденься и укройся.

Случалось ли тебе уснуть
Во сне? Двойное сновиденье -
Такое: пальцем шевельнуть,
Менять, проснуться - преступление.

О шарик мраморный! мускат,
Мой сон, диковинный и сладкий,
Я лишь тебе вручаю шаткий
И жалкий бег вперед-назад!

То в суете болезнь его!
Глотнув от скорбного удела,
Уже не хочет ничего
Мое запущенное тело:

Ни поцелуев, ни дневных
Трудов, ни влята единоверца...
Лить в сновиденьях проливных
Задох садоросленья сердца.

Год активного солнца

1

Вот закончился год. Середина июля.
Семь часов пополудни. Жара. Перелет.
Сотрясая постель, бормоча, балагурия,
Упивается гром; вот закончился год!

И, как дряблое эхо, грохочет кастрюля.
Годовалый ребенок насчет самолет.
Вот и молния! Вот и закончился год!
И, вертясь, пролетела последняя пуля.

О, не плачь, мой приемш! — мы все-таки живы
И свободны от тысячи дел и забот...
Вот серебряный твой самолет
Ускользнул из сетей, не умножив наживы.

Не забыт ли уют материнского крова?
Не видна ли и над колыбелью блесна?
Терпеливый рыбац не дождется улова:
Сплывнет вниз и вернется из Долгого Сна.

Уходите! Уже не видать вам удачи!
Не загнать, не замять... Гроза перейдет.
Отвернувшись, лежит мой приемш и плачет.
"Что случилось, любимый?" — "Закончился год..."

2

Год активного солнца. Дожди. Ожиданье
Небывалых событий. И вот — ничего!..
Помню свой перелет и второе свиданье
С распалившимся градом и шутки его.

Как шутил он, когда под губами гребенка
Прозвенела и взмокли обрывки бумаги!
Поседевший проказник с глазами ребенка
Наблюдал и вышучивал каждый мой шаг.

То треща, как шутиха, то воя фугасом,
На прогнивших подмостках меняясь в лице,
Лицедей ублажал меня жалобным басом
И не сразу сорвался на фарс и фальцет.

Но при первой же давке в дверях электрички,
За картофельным блюдом и блюдом харит
Он меня рассмотрел до последней привычки,
Сплющая зубом и, сплюнув, растер о гранит.

И открыто таскаясь за мной от Ленторга
До громадины над леденящей Невой,
Он меня тормошил, заходясь от восторга:
"Покажись-ка! А впрочем- ступай... Ничего!"

Из цикла: НОЯБРЬ

В. П. О.

Я расправляю одеяло
и пью сырое молоко
еще ни разу не бывало
так одиноко и легко
так целомудренно и чинно
так безусловно и н и ч е г о

И миновала годовщина
со дня ухода твоего

Из цикла "Восточные сказки"

Победа порождает ненависть
Дхаммапада. Глава о счастье.

Я сторожем куда-нибудь устроюсь,
Поношенным пальто на час укроюсь,
Проснусь и ледяной водой умоюсь.
И подойду к столу.

Полузабытых книг черновиками
Легит на деревянном теле камень.
И чем так виноват я перед вами,
Закут тепла и радости лоскут?

Мышиный писк застрял в плотине горла.
Кормление с рук — проклятье Святогора.
Короста не отшелушится скоро
Чешуйками, корой.

Но, как дракон о чешуе забытой,
Я смутно помню о семье разбитой,
Охаянной и виопыхах забытой
В пернавий хвост и песок сырой.

Что выползло — не обрело вниманья.
Кормление с рук не радует нисмало.
Электромясорубка! Майя! Майя!
Спермодонильный бум!
Бомбардировка. Изобилие женских
Бомбоубежищ в результате членских
Пассажных взносов в профсоюз и энских
Подпольно-анонимно-частных сумм.

За проволокой возле телефона
Я что-то охраняю. Оборона
При "мирном наступлении" законна.
Чай. Сахар. Бутерброд.
Ни к черту не годюсь как шифровальщик,
Ни к черту не годюсь как рисовальщик,
Но в общем-то я скромный, я пай-мальчик!
Вот только бы не лезли пальцем в рот.

Хотя б из уважения к железу
Я никого, пожалуй, не зарезу.
Как жалко, что главбуху Козарезу
Так нужен лезунг- прямо козарез!
Я тоже отмечаю годовщины.
На это у меня свои причины.
Но только - чур меня! - без чертовщины,
Товарищ Козарез.

Астральный свет сменяется нормальным.
Светает. / Не берется эпохальный
Масштаб. Имеется в виду банальный
Сегодняшний рассвет ✓
Пенсионер замешкался. Ему же
Не надо зарабатывать "для Юши".
Ему удобен минимум. К тому же
Старик не покупает сигарет.

Радиоволны ходят, как цунами.
Я шевель распухшими губами.
Лежит на деревянном теле камень
Полузабытых книг.
Читаю, протирая окуляры,
Рассвета черновые экземпляры
И вечера печатные кошмары,
И ночи нечленораздельный крик.

Напрасно ты со мной носилась, Клио.
Смотри, что натворил: все вкось и криво,
Ни к черту все, бессмысленно, крикливо!
Ни выкладок, ни дат.
Нет, из меня не сделать костоправа.
Я сам свихнусь - не отину сустава.
Другому предоставь такое право,
История. А я - простой солдат.

Лаэрт. *Persona grata*. Наговорам
Я без труда поверю и по нормам
С восторгом соберу народ, с которым -
На крест, на небеса,
В тартарары, на дно, куда угодно!..
Сознание и кшагу - вон: свободы!
Я за тобой - твой брат единородный -
Офелия, сестрица, стрекоза!

.....
Я - оптовым значком в учебной гамме
Чернел под северными небесами...
И чем так виноват я перед вами,
Скрипичный ключ и круг?
Буддийские иконы в Эрмитаже
Не доставляют беспокойства страже.
Никто из них не молится. И даже
Никто не оживает вокруг.

Должно быть, не хватает рук у Шины.
Скорежут тормоза, сгорят шины.
Мужчины превращаются в машины.
Последние - в мужчин.
Тотально истощаются ресурсы
Энергии. Являются Иисусы -
Спасители. Основывают курсы
Крис, посягающих гемоглобин.

Зря Мефистофель, собирая брови,
Распространяется о свойствах крови.
Не берут где потекло. И кроме
Того - сосет насосом ширпотреб.
В бескровьях задыхаются заводы.
Артерии отводят под отходы.
И завтра в нас введут фторуглероды,
Как в холодильник "Днепр".

Качаются в тайге березы, кедры,
Я на балкон давно забросил кедр.
Оптимистичен академик Келдыш.
Подозревать науку - кретинизм.
Но мне таежный дядька наукал,
Что есть у нас наука и наука,
А также то, что некий мавр наукал,
Разбавив пивом английский снобизм.

И страх и безразличие наивны.
Всеобщие законы субъективны.
Не лду ни прорицания Наины,
Ни матриц Э В М.
Но, то, что видит глаз и слышит ухо,
Вдыхает нос, черевнещает брюхо,
Берет рука, - так сухо и так сухо,
Так замкнуто в себе!.. Кому повем

Печаль мор? Забота атеиста
Не возмутит экстаз евангелиста
В несчастье, в помыслах нечистых, чистых,
В сиянии, в огне.
И голуби, как черти на горнице,
Копаются и ирут, и ирут нищие...
Должно быть, над Тибетом воздух чище,
Чем тот, что поднимается в окне.

Закончилась ночная служба. Утро.
Внутри, снаружи мутно и утло.
Растаяла произвольная суфра
За визгом поросят.
Дышу не надыхусь свихозной вонью.
По мокрым волосам вожу ладонью.
Мечтаю обрести в кредит белонью,
Устроить наконец-то дочь в детсад.

На площади беру кефир для Нюшки.
Мерещатся волшебные игрушки.
Опять я не усну на раскладушке,
А буду воевать,
С утра искоренять непослушанье
И, вслушиваясь в звонкое риданье
Ребенка, понимать, что оправданья
Бессмысленны, когда так виноват.

Приготавливая зачатку для машины,
Скатаем имена в кусок резины,
В один фотол засунем все картины,
Все действия - в один электровсплеск.
И то, что выплывет одна машина,
Разрежем, словно парик героина,
Дадим другим машинам. Дисциплина
Научного труда. Стерильность. Блеск.

От всех родил останется крупница,
Которую шутя проглотит птица
Амбарной книги. Чертова сница
Архивы перешлет.
В неяркий пламень, в сладость окисления
В последний гимн вошьются поколения.
Осмеленная буква Откровенья
Буквально воплощение обретет.

Сиянье голубой электросварки
Сечет геометрические парки
Обоев, переламывает арки
Готического сна.

Я падаю во тьму на раскладушке.
Копаются петух, кричат несушки.
И держит темнота меня на мушке
Высокого и узкого окна.

1973

Из цикла: КАРАНТИН

✓
Я выпил много красного вина,
пытался петь, шутить и улыбаться...
И мне печально девочка одна
сказала: "Что ж, давайте целоваться!"

Ночной неторопливый листопад
переполнял глубокую аллею.
И девочка сказала: "Говорят,
что ничего я толком не умею."

Вы - мой наставник, опекун и брат.
Мне, как ребенку, ничего не снится..."
И я ей улыбался невпопад
и называя любимой ученицей.

А озеро мерцало в полутьме,
как холст нерасчехленного экрана.
И за кругами веток, на холме
еще светились окна ресторана.

Ее лица магический овал
с раздвинутыми детскими губами
я в суеверном страхе целовал
и гладил деревянными руками.

И все, что я до этого умел,
все, что еще могло бы пригодиться,-
вобрало побелевшее, как мекс,
лицо моей любимой ученицы.

ЦЕРК

.....

.....

Устал сплетать и расплетать
Судьбы раздерганную нитку.
Мне так хотелось бы летать!
Я даже делаю попытку...

Как подкупает высота
Одной возможностью падения!
И скрыты контуры листа
В продленном отзвуке мгновенья.

Как ослиный акробат,
Я наклоняюсь над закатом...
А за моей спиной солдат
Стоит с тяжелым автоматом.

Его неизблемый устав
Суть воплощенная беспечность.
Лишь ускорение придав
Мгновенью, обретаешь вечность.

Из книги "ТРЕЩОТКА"

Баллада о двух Маринах

Голодаем, как испанцы...

М. Цветаева

И

Вши, мыши, коты собаки,
и черви, глисты, привиденья,
и ты,
ты, Лёня Бушуйский, в корсете,
в соплях — мой единственный ангел,
пропахший насквозь керосином
и кровью,
и гноем,
и гневом
господним, —

сюда! — на кладбище
помещичье и родовое,
где запах — и тот благороден:
настоянное разложение!..

И вот наша милая гостья,
гиппанская москвитянка
с глазами, вобравшими небо
и землю с пшодами... садами...

С глазами, отдавшими небо
и землю шальному цыгану
за тонкие смуглые руки,
за легкое белое знамя!..

И вот наша гостя в печали...

О господи! - староста группы,
любимица... Тоже - Марина...
Колпак на головке лыняйной...
А кто там за ней копошится
застиральной байковой мышью?
да вся наша группа вторая?

И в белом халатике - мама
моя и сиротская мать,
как белая лебедь из сказки...

Кто ищет приюта в приюте?
Кому от соленого сладко?

Две разных Марины, два мира...

И та же земля под ногами.

"А где моя дочка Ирина?"

- "А где моя мама?..
ГДЕ МАМА?"

Моление о Слове

В мерзотине животной немоты
мы диним, разевая рты,
гниющим воздухом Поволжья,
на низком берегу, где кара Божья
настигла изуверившихся нас
(мы выдали себя, никто не спас!)
посередине
людского скопа, в человеко-тине
барахтаясь почти
уже по плечи,
косноязычно выдохну: "Почий
на грешном дух членораздельной речи!"

Не в преисподней и на небеси —
здесь, на земле, и жгут, и нежат душу.

"ОФИЦИАНТ!"

Прости меня... Послушай, —
НЕ ОБНЕСИ!

Не выжимки из виноградных лоз —
готический стакан кристальных слез
с таинственным зерном на самом дне
поставь на столык мне.

Я подниму стакан,
и светлые, как эхо,
взорвутся пузыри такого смеха,
что-о-ля-ля! — элемент смертельно пьян!

Он тащится, шатаясь, на Голгофу.
Бесчисленны кресты чернозиков.
Дорогу, дураки, царю Гороху,
наиглунейшему из дураков.

За укус славы на губах, за это
стоиловотворение учеников
из притч, и плачей, и речей Завета
распустится павлиний хвост веков:

холсты, стихи, кантаты, базилики...
Павлин кричит и прячет голый зад.
Ад немоты. Кромешный рай безликих,
Закупоривших уши и глаза.

Душа стоит ретортов в сугробе.
Наст заскорузл и желт- оплошней лишай!..
Не трогай, Боже, камень у надгробья,-
ДАЙ МНЕ СКАЗАТЬ!
А там - хоть воскрешай.